

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 5

1990



*Бенедикт САПНОВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**Ф Е Н О М Е Н  
С Т А Л И Н А**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 5

Издается с января 1925 года

Бенедикт САРНОВ

# ФЕНОМЕН СТАЛИНА

ВЕРСИЯ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1990

## Бенедикт САРНОВ

Бенедикт Михайлович Сарнов родился в Москве в 1927 году. В 1951 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Первую рецензию напечатал в «Литературной газете» в 1948 году. С этого времени постоянно выступает в печати с литературно-критическими статьями и рецензиями («Литературная газета», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Огонек», «Юность», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Искусство кино», «Детская литература» и др.).

Автор книг: «А. Пантелеев. Критико-биографический очерк» (1959), «Трудная весна. Рассказы» (1962), «Страна нашего детства», «Литературно-критические статьи» (1965), «Рифмуется с правдой. Книга не только про стихи» (1967), «Самуил Маршак. Очерк поэзии» (1968), «Время таланта. Портреты и памфлеты» (1987), «По следам знакомых героев» (1989).

Итак, еще одна версия. Еще одна попытка разгадать загадочный феномен Сталина.

Читателям, хорошо знакомым с творчеством Михаила Зощенко, название этой статьи наверняка покажется странным, поскольку доподлинно известно, что о Сталине Зощенко никогда не писал. В исторических главах «Голубой книги», где появляются самые разные исторические персонажи — от Корнелия Суллы до Генриха Птицелова и от Александра Македонского до Екатерины Второй, — о Сталине нет ни строчки. Даже простого упоминания.

Существует, правда, легенда, согласно которой Сталин однажды промелькнул в одном из зощенковских рассказов, хотя и не был в нем назван. Но прежде чем обратиться непосредственно к этому рассказу, надо хоть несколько слов сказать обо всем цикле, к которому этот рассказ принадлежит. Цикл называется «Рассказы о Ленине». Рассказы эти хрестоматийны и излагать их содержание нет нужды. Хочу отметить только одну отличающую их особенность. Каждый — буквально каждый! — поступок Ленина в каждом из этих рассказов воспринимается рассказчиком как самое настоящее чудо. О каждом из них он повествует с искреннейшим изумлением и восторгом.

Вот, например, один рабочий — некто Григорий Иванов — приехал по делам службы в Кремль. Выполнив то дело, ради которого он пришел, он зашел в кремлевскую парикмахерскую:

«Вот он заходит в кремлевскую парикмахерскую. И занимает свою очередь.

А народу в парикмахерской много. Два мастера стригут и бреют. А посетители ожидают.

Григорий Иванов в грустном настроении сидит в этой парикмахерской минут двадцать...

Вдруг открывается дверь, и входит новый посетитель. И тут все видит: это пришел Владимир Ильич Ленин — председатель совета народных комиссаров.

И тогда все, которые были в парикмахерской, встают и говорят: — Здравствуй, товарищ Ленин!»

Дальше события развиваются самым обыкновенным и даже, я бы сказал, банальным образом. Ленин спрашивает, кто последний. Все ожидающие в один голос объявляют, что он имеет право пройти без очереди. Он отказывается, говоря, что порядок есть порядок, и его нельзя нарушать. Ничего необыкновенного не происходит и потом. Необыкновенна тут только тональность рассказа — та интонация благоговейного восторга, в которой преподносит нам все эти обыкновенные события рассказчик:

«Тогда встает со стула наш рабочий Григорий Иванов и, сильно волнуясь, говорит товарищу Ленину:

— В аккурат сейчас подошла моя очередь. Но я скорей соглашусь остаться небритым в течение пяти лет, чем заставлю вас ожидать. И если вы, товарищ Ленин, не согласитесь нарушить порядок, то я имею законное право уступить вам свою очередь, с тем чтобы занять последнюю, вашу...

Ленин прячет газету в карман и, сказав: «Благодарю», садится в кресло.

И все смотрят на товарища Ленина и думают: «Это великий человек! Но какой он скромный».

В этой тональности выдержан весь рассказ. Не вполне укладывается в эту интонацию восторженного умиления лишь последняя фраза. Естественнее было бы, если бы она звучала так:

— Это великий человек! И какой он скромный.

Однако зощенковские персонажи выражают свои чувства иначе. У Зощенко в этой реплике не «И», а — «НО».

В этом «НО» слышится удивление. Может быть, даже и легкое разочарование: «Такой великий человек, а так несолидно себя ведет».

Однако это — лишь крохотный обертон, нимало не заглушающий основного тона: восторженного, благоговейного умиления.

Чем же вызвано это восторженное умиление, этот немыслимый благоговейный восторг всех действующих лиц рассказа, включая и самого рассказчика? Есть ли основания для такого бурного, безграничного восхищения, для этого трепетного, благоговейного восторга?

## 2

Есть. Безусловно есть.

Эта тема у Зощенко разработана обстоятельно:

«...Часовой Лобанов не знал в лицо товарища Ленина. Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград. Ну, и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду.

В общем Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит:

— Минуточку, товарищ! Покажите ваш пропуск!

Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал:

— Ах, да, пропуск! Извините, товарищ, сейчас найду.

И стал искать свой пропуск в боковом кармане.

А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек... И видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился. И крикнул:

— Это же Ленин! Пропустите!

Лобанов тихо ответил этому человеку:

— Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина...

Служащий возмутился еще больше и крикнул:

— Извольте немедленно пропустить Ленина!

Вдруг Ленин говорит:

— Не надо ему приказывать и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков.

Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск. Подает его часовому. Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск. И видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина.

Лобанов берет под козырек и говорит Ленину:

— Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск».

Тут интересно вот что. Хотя Ленин уже сказал, что часовой поступает совершенно правильно, требуя у него пропуск, сам часовой, узнав, что перед ним не кто-нибудь, а действительно Ленин, все-таки перед ним извиняется. Значит, сам он считает, что поступил не совсем правильно. Да и до того, как дело выяснилось, часовой держится крайне неуверенно. На своих законных правах отнюдь не настаивает: «Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого я еще не имел счастья видеть товарища Ленина...» А уж когда Ленин, наконец, показывает ему свой пропуск, «Лобанов с т р е п е т о м разворачивает» его.

Рассказчик, по-видимому, тоже считает, что часовой проявил излишнюю принципиальность, потребовав у Ленина пропуск. Именно поэтому он считает своим долгом все время оправдывать часового, находить для его странного и нелепого поведения какие-то смягчающие обстоятельства: «Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград».

Но самое удивительное тут для всех (в том числе и для рассказчика) — это внезапное заступничество Ленина, неожиданно, как гром среди ясного неба, грянувшее: «Часовой поступает совершенно правильно!» Недаром, сообщая об этой удивительной реплике Ленина, рассказчик предваряет ее такой фразой: «Вдруг Ленин говорит». Это прямо как в сказке: «Вдруг, откуда ни возьмись...»

Суть вышеописанной коллизии состоит в том, что Ленин ведет себя как нормальный человек, а все окружающие предполагают, что он должен (и будет) себя вести как если бы он был царь. Даже не самодержец, а деспот.

«Различие между самодержавием и деспотизмом граф Блудов объяснял императору Николаю тем, что самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены их должен сам им повиноваться». (Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. Том 1, М., 1961.)

Ленин в рассказе Зоценко как бы исходит из того, что прежде чем требовать от часового, что он должен пропускать его без пропуска, надо было издать закон, обязывающий всех часовых знать его, Ленина, в лицо. И поскольку Ленин ведет себя в этой ситуации как «гнилой интеллигент», не решается прикрикнуть на часового: «Да как вы смеете меня не пускать! Я же — Ленин!» — это делает за него случайный прохожий.

Существует легенда, что в одной из ранних редакций рассказа этот персонаж, прикрикнувший на часового, был обозначен как «человек с бородкой». Кто-то из доброжелателей Зоценко посоветовал ему убрать бородку, поскольку могут подумать, что он имел в виду Дзержинского. Тогда Зоценко якобы заменил «человека с бородкой» «человеком с усами». В результате вышло еще хуже. «Усы» дали повод высившемуся к тому времени Сталину принять это на свой счет. Отсюда якобы и все последующие неприятности и беды, постигшие писателя.

История нельзя сказать, чтобы совсем неправдоподобная. И если даже она выдумана, нельзя не признать, что выдумка эта вовсе не лишена смысла. Но дело тут, конечно, не в том, что «бородка» так неудачно была заменена «усами».

Дело в том, что человек, прикрикнувший на часового, ведет себя в рассказе Зоценко именно так, как мог бы вести себя Сталин. На этот счет имеется точное документальное свидетельство, которому нельзя не верить:

«Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 г. на конференции большевиков в Таммерфорсе. Я надеялся увидеть горного орла, великого человека, великого не только политически, но и физически, ибо Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных... Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления: «тсс... тише... он идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импо-



нирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу с самыми обыкновенными делегатами. Не скрою, что это показалось мне некоторым нарушением некоторых необходимых правил». *(И. Сталин. О Ленине. Речь 28 января 1924 г.)*

Как видим, Сталин имел все основания узнать себя в том персонаже зощенковского рассказа, который раздраженно крикнул часовому:

— Это же Ленин! Извольте немедленно пропустить товарища Ленина!

Из всего сказанного, разумеется, ни в коей мере не следует, что Зоценко и в самом деле имел в виду Сталина.

На самом деле он не имел в виду никого конкретно. Он имел в виду всех и каждого.

Возмутиться «нахальным» поведением часового, требующего пропуск у «самого Ленина», мог кто угодно. Потому что в мире, который изображает и исследует Зоценко, н о р м о й является практика и психологическая атмосфера даже не самодержавного, а именно деспотического государства.

Для народонаселения страны, описываемой Михаилом Зоценко, принципы самодержавной власти, сформулированные графом Блудовым, — недостижимый идеал. Чтобы самодержавный повелитель сам выполнял хотя бы те законы, которые он сам же и устанавливает, — это, как сказал бы зощенковский персонаж Иван Федорович Головкин, «форменная утопия».

Вот она — первопричина того трепетного восторга, который охватывает всех, кто соприкасается в рассказах Зоценко с товарищем Лениным.

Самый главный человек в государстве, а ничем не отличается от простых смертных. В пиджаке. В обыкновенной кепке. Не приказал прислать ему парикмахера, а сам скромно пришел в парикмахерскую. Отказался пройти без очереди. Приняв предложение рабочего, уступившего ему свою очередь, поблагодарил. Уходя, сказал всем: «До свидания, товарищи!» Мог бы ведь и не благодарить, принять как должное. А вот — поблагодарил. Мог бы не говорить: «До свидания!» А вот — сказал...

Неужели всего этого достаточно, чтобы все вокруг благоговейно изумлялись: «Какой он скромный!»?

Нет, на самом деле, конечно, тут собака зарыта поглубже.

Одному зощенковскому персонажу как-то пришло в голову позвонить по телефону в Кремль.

Вот как это получилось:

«...У них разговор перекинулся на международную политику.

Ну, наверное, один из гостей, попивший чай, что-нибудь сказал остро международное. Другой, наверное, с ним не согласился. Третий сказал: Англия. Хозяин тоже, наверное, что-нибудь дурацкое добавил. В общем, у них начался адский спор, крики, волнения и так далее...

И в разгар спора вдруг один из гостей, женщина, товарищ Анна Сидоровна, служащая с двадцать третьего года, говорит:

— Товарищи, чем нам самим об этих отдаленных материях рассуждать — давайте позвоним, например, какому-нибудь авторитетному товарищу и спросим, как он про этот международный вопрос думает. Только и всего.

Один из гостей говорит, вроде как шуткой:

— Может, еще прикажете запросить об этом председателя народных комиссаров?

Женщина Анна Сидоровна немного побледнела и говорит:

— Отчего же? Вызовем, например, Кремль. И попросим какого-нибудь авторитетного товарища. И поговорим.

Тут среди гостей наступила некоторая тишина. Все в одно мгновение посмотрели на телефон.

Вот Анна Сидоровна побледнела еще больше и говорит:

— Вызовем к аппарату товарища Рыкова и спросим. Только и делов».

Вопрос пока еще обсуждается чисто теоретически. Отчасти даже как шутка. Однако женщина Анна Сидоровна, внесшая это предложение, уже слегка побледнела. А потом, как отмечает рассказчик, — «побледнела еще больше». И в этом ее побледнении уже сказилось недюжинное знание жизни.

Дело так бы, наверное, и кончилось этими пустяковыми разговорами. Но на беду в компании болтунов оказался «один энергичный товарищ Митрохин»:

«...Энергичный товарищ Митрохин подходит к аппарату твердой походкой и говорит:

— Я сейчас вызову.

Он снимает трубку и говорит:

— Будьте любезны... Кремль...

Гости, затаив дыхание, встали полукругом у аппарата. Товарищ Ан-

на Сидоровна сделалась совсем белая, как бумага, и пошла на кухню освежаться».

Обратите внимание: энергичному товарищу Митрохину еще даже ничего и не ответили, а женщина Анна Сидоровна уже сделалась белая, как бумага. А когда ему ответили, так даже и он, этот энергичный товарищ, тоже мгновенно переменялся в лице:

«И вдруг гости видят, что товарищ Митрохин переменялся в лице, обвел блуждающим взором всех собравшихся, зажал телефонную трубку между колен, чтоб не слышать было, и говорит шепотом:

— Чего сказать?.. Спрашивают — по какому делу? Откуда говорят?.. Секретарь, должно быть... Да говорите же, черт возьми...»

Чтобы в полной мере оценить все своеобразие этой психологической коллизии, проделаем маленький эксперимент. Сопоставим ее с ситуацией, по внешности совершенно аналогичной. В одной пьесе, написанной примерно в то же время, что и этот зощенковский рассказ, происходит нечто очень похожее:

«СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ. Я могу никого не бояться, товарищи. Никого. Что хочу, то и сделаю. Все равно умирать!.. Понимаете? Что хочу, то и сделаю!.. Никого не боюсь! В первый раз за всю жизнь никого не боюсь! Захочу вот, пойду на любое собрание, на любое, заметьте себе, товарищи, и могу председателю... язык показать. Не могу? Нет, могу! Дорогие товарищи! В том-то и дело, что все могу. Никого не боюсь! Вот в Союзе нас 200 миллионов, товарищи, и кого-нибудь каждый миллион боится, а вот я никого не боюсь. Никого. Все равно умирать... Что хочу, то и сделаю. Что бы сделать такое со своей сумасшедшей властью, товарищи? Что бы сделать такое?.. Для всего человечества?.. Знаю, нашел. До чего это будет божеественно, граждане. Я сейчас, дорогие товарищи, в Кремль позвоню. Прямо в Кремль. Прямо в красное сердце советской республики. Позвоню... и кого-нибудь там... поругаю по-матерински. Что вы скажете? А? (Идет к аппарату.)

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ. Ради бога!

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА. Не надо, Семен Семенович!

ОТЕЦ ЕВПИДИЙ. Что вы делаете?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА. Караул!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ. Цыц! (Снимает трубку.) Все молчат, когда колосс разговаривает с колоссом. Дайте Кремль. Вы не бойтесь, давайте, барышня. Ктой-то? Кремль? Говорит Подсекальников. Под-се-каль-ников. Индивидуум. Ин-ди-ви-дуум. Позовите кого-нибудь самого главного. Нет у вас? Ну, тогда передайте ему от меня, что я прочел Маркса и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня...» (Николай Эрдман. *Самоубийца*.)

При всем внешнем сходстве у Эрдмана ситуация совершенно иная. Не такая, как у Зощенко. Семен Семенович Подсекальников совершает свой безумный поступок не просто так, не по глупости. Это его вызов,

его священное безумие. Это он всему человечеству в этот миг язык показывает. Все равно ведь он уже человек конченный, так не лучше ли ему покончить жизнь самоубийством не просто так, а красиво, завершив свой земной путь таким вот эффектным жестом под занавес. И тот ужас, в который приводит всех присутствующих отчаянный поступок Подскальникова, отчасти оправдан.

Герой Зоценко (этот самый энергичный товарищ Митрохин) никаких таких безумств совершать не собирается. Он и сам-то еще толком не знает, что скажет, если оттуда, из Кремля, ему ответят. Во всяком случае, если и скажет что-нибудь, так безусловно нечто вполне лояльное.

Однако ведет себя зоценковский товарищ Митрохин в этой ситуации так, как будто он тоже готовится совершить нечто в полном смысле слова самоубийственное. Пожалуй, он даже больше похож в этот миг на самоубийцу, чем самоубийца Эрдмана. И все окружающие тоже куда больше взволнованы его безумным поступком, чем те, кто окружал эрдмановского Подскальникова:

«Квартирная хозяйка Дарья Васильевна Пилатова, на чье благородное имя записана была квартира, покачнулась на своем месте и сказала: — Ой, тошнехонько! Зарезали меня, подлецы. Вешайте трубку. Вешайте в моей квартире трубку. Я не позволю в моей квартире с вожжами разговаривать...»

Товарищ Митрохин обвел своим блуждающим взглядом общество и повесил трубку.

В комнате наступила тишина...

Гости стали выходить в прихожую. И, стараясь не глядеть друг на друга, молча выходили на улицу...

История литературы знает множество случаев, когда одна и та же ситуация, одна и та же сюжетная коллизия разными художниками рассматривалась и преобразалась по-разному. Вот, например, основная коллизия гоголевского «Ревизора». Она, как известно, повторяет коллизии комедии Г. Ф. Квитко «Приезжий из столицы». Кроме того, та же ситуация положена в основу повести А. Вельмана «Провинциальные актеры».

«В одном из пятисот пятидесяти городов империи едет на спектакль актер провинциальной труппы; на нем театральный мундир с двумя звездами. Но вот лошади понесли, возницу убило. В это время у городничего были гости... Вдруг приходит неожиданное известие, что приехал генерал-губернатор, которого ожидали. На самом деле это был актер, ехавший на спектакль. Его, разбитого, внесли в квартиру казначея; на нем театральный мундир. Он бредит кусками ролей, говорит о государственных делах, и это всех вводит в заблуждение. К дому ставят будку с часовым, чиновники едут представляться больному...

Гоголю не нужны были ухищренные мотивировки Вельмана или Квитко. Не надо ему было и того, чтобы на Хлестакове оказался случай-

но надетый мундир... Не нужно и того, чтобы герой говорил кусками романтических ролей, как у Вельтмана...

Частные мотивировки заменены одной — страхом» (*Виктор Шкловский. Заметки о прозе русских классиков*).

Вот так же и Зоценко не нужны были те ситуационные и психологические мотивировки, которыми осложнена эта коллизия у Эрдмана. Ему не нужно было, чтобы герой его собирался покончить жизнь самоубийством, чтобы он хотел обругать «кого-нибудь там, в Кремле, по-матерински», чтобы он демонстративно заявлял, что прочел Маркса и Маркс ему не понравился.

То-то и дело, что самый что ни на есть наилояльнейший, ничем не мотивированный телефонный звонок в Кремль — уже есть акт самоубийственный. Невинное желание поговорить о чем-нибудь «с вождем» уже само по себе более чем достаточное основание для того, чтобы всеми присутствующими овладел ужас.

И энергичный товарищ Митрохин, и Анна Сидоровна, и хозяйка квартиры Дарья Васильевна Пилатова, — все они вовсе не какие-нибудь там особенные, патологические трусы. И гости, которые стали поспешно покидать эту зачумленную квартиру, тоже не какие-нибудь исключительные мерзавцы и христопродавцы. Они самые обыкновенные, нормальные обыватели. А чувствуют и поступают они так, потому что твердо знают: хоть ничего плохого они и не имели в виду, и вообще еще решительно ничего не успели ни совершить, ни даже вымолвить, а «теперь... неизвестно, как обернется».

Обернуться может очень даже худо. А если вдруг пронесет — это будет великое счастье. Это будет просто чудо!

Практически л ю б о е соприкосновение зоценковского героя с «вождями», закончившееся более или менее благополучно (то есть не имевшее для него никаких отрицательных последствий), неизменно вызывает у него (у зоценковского героя) именно эту реакцию: оно воспринимается им как чудо.

## 4

Говорят, что даже апокрифы известным образом отражают реальность.

В одном из канонических произведений советской поэтической Ленинианы рассказывается замечательная история про старика-печника, который однажды, увидав случайного прохожего, шагающего по заливному лугу без дороги, напрямиком, слегка наорал на него:

— Эй ты, кто там ходит лугом!  
Кто велел топтать покос?! —

Да сплеча на всю округу  
И поехал, и понес.

Разошелся.

А прохожий  
Улыбнулся, кепку снял.  
— Хорошо ругаться можешь, —  
Только это и сказал.

Постоял еще немного,  
Дескать, что ж, прости, отец,  
Мол, пойду другой дорогой...  
Тут бы делу и конец.

Но печник — душа живая, —  
Знай меня, не лыком шит! —  
Припугнуть еще желая:  
— Как фамилия? — кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами,  
Лысый, ростом невелик.  
— Ленин, — просто отвечает.  
— Ленин! — Тут и сел старик.

*(А. Твардовский. Ленин и печник).*

Этот печник влип в куда более неприятную историю, чем те герои зощенковского рассказа, которые сдуру позвонили по телефону в Кремль.

У него, у печника, действительно есть основания опасаться, что все это дело «еще неизвестно, как обернется». И все же человек, привыкший к более нормальной социальной атмосфере, вряд ли выдал бы по этому поводу такую, как говорят ученые люди, неадекватную реакцию:

День за днем проходит лето,  
Осень с хлебом за порог,  
И никак про случай этот  
Позабыть печник не мог.

А по свежей по пороше  
Вдруг к избушке печника  
На коне в возке хорошем —  
Два военных седока.

Заметалась беспокойно  
У окошка вся семья.

Входят гости:  
— Вы такой-то?  
Свесил руки:  
— Вот он я...

— Собирайтесь! —  
Взял он шубу,  
Не найдет, где рукава.  
А жена ему:  
— За грубость,  
За свои идешь слова...

Сразу в слезы непременно,  
К мужней шубе — головой.  
— Попрошу, — сказал военный, —  
Ваш инструмент взять с собой.

Будь наш печник в более спокойном состоянии, последняя реплика (про инструмент) наверняка навела бы его на мысль, что приехали за ним не для того, чтобы везти в тюрьму или, упаси бог, расстреливать, а для каких-то других, скорее всего чисто профессиональных надобностей.

Так оно и вышло.

Оказалось, что у Ленина в кабинете слегка дымит печка. И не греет. Так вот, нельзя ли помочь такой беде?

Крякнул мастер осторожно,  
Краской густо залился.  
— То есть как же так нельзя?  
То есть вот как даже можно!

Удивительна эта последняя реплика! То ли автора, как выразился по сходному поводу М. Булгаков, «подвела изобразительная сила его таланта», то ли особая близость его душевного склада душевному складу выбранного им героя. Как бы то ни было, но в этом — «То есть вот как даже можно!» — с такой натуральностью и художественной силой выразился «внутренний жест» героя, что мы прямо-таки физически ощущаем, как в этот миг отлегло у него от сердца.

А дальше (такая уж, как сказал поэт, пресволочнейшая штукавина эта самая поэзия, что ничего в ней не утаишь!) — дальше мы все явственней начинаем различать, что тот же благоговейный восторг, какой испытывает герой, в той же (а может, даже и в еще большей) мере испытывает и сам автор:

Печь исправлена. Под вечер  
В ней защелкали дрова.  
Тут и вышел Ленин к печи  
И сказал свои слова.

Он сказал, — тех слов дороже  
Не слышал еще печник:  
— Хорошо работать можешь,  
Очень хорошо, старик.

И у мастера от пыли  
Зачесались глаза.  
Ну а руки в глине были —  
Значит, вытереть нельзя.

Кое-кому такая удивительная реакция на такие простые слова, наверное, покажется чрезмерной. На самом деле, однако, никакая она не чрезмерная. Вы только вдумайтесь в то, что произошло! Человек себя уже, можно сказать, похоронил. Он уже и не чаял вернуться домой живым. И вдруг, вместо того чтобы наказать, посадить, расстрелять, его еще и похвалили!

И у автора на душе отлегло. Потому что автор тоже не лыком шит, знает: еще неизвестно, как могло все это обернуться. Небось, по собственному опыту знает. Как не знать? Не в Женеве он родился, и не в кантоне Ури прошли его детские годы.

Ничего не поделаешь! Такая уж эта страна — Россия. От тюрьмы и от сумы здесь не зарекаются. Здесь человека забрать всегда могут. И никто не спросит: за что? Взяли, значит, так надо. А уж тем более, если твоя тропинка ненароком пересеклась с Царской Тропой.

«Царь ходит весь в золоте, ест золотыми ложками с золотых тарелок и, главное, «все может». Может прийти к нам в комнату, взять, что захочет, и никто ему ничего не скажет. И этого мало: он может любого человека сделать генералом и любому человеку отрубить саблей голову или приказать, чтоб отрубили, и сейчас отрубят... Потому что царь «имеет право» (В. Г. Короленко. *История моего современника*).

Автор этого отрывка рассказывает о своем детском, почти младенческом восприятии этого загадочного явления, имя которому — «царь». Однако именно вот из этого младенческого, детского (но в существе своем совершенно правильного) представления о сущности деспотизма и проистекают те непосредственные реакции героя Зощенко (и Твардовского тоже), которые мы сейчас наблюдали.

Самый обыкновенный человек, «лысый, ростом невелик». Не «весь в золоте», а в затрапезном пиджачишке и кепочке. Уже чудо! Говорит «спасибо» — еще большее чудо! Не приказывает отрубить голову — уж такое чудо, что ни в сказке сказать, ни пером описать.



Для сознания, которому естественным и нормальным представляется только деспотический порядок вещей, попытка вести себя, исходя из принципов более или менее просвещенного абсолютизма, уже представляется чем-то диковинным, неслыханным, неправдоподобным.

Причем эти представления лежат не где-нибудь там на поверхности сознания зощенковского героя, а в самой его глубине.

Конечно, интеллигенту тоже не чужды инстинкты такого рода. Но у интеллигента они не отличаются такой устойчивостью, такой прочностью:

«Когда мы уже шли по пустынному завьюженному Кремлю к «капитану», я почувствовал, что боюсь. Не то чтоб я верил очаровательным легендам досужих жен бывших товарищей прокуроров, кои изображали большевистских главарей чем-то средним между Джеком-Потрошителем и апокалипсической саранчой. Нет, я просто боялся людей, которые что-то могут сделать не только с собой, но и с другими. Этот страх перед властью я испытывал всегда, даже мальчиком, тщательно обходя добряка городского, дремавшего в башлыке на углу Пречистенки. В последние же годы, увидав ряд своих приятелей, собутыльников, однокашников в роли министров, комиссаров и прочих «могущих», я понял, что страх мой вызывается не лицами, но чем-то посторонним, точнее, шапкой Мономаха, портфелем, крохотным мандатиком. Кто его знает, что он, собственно, захочет, во всяком случае (это уж безусловно), захотев, сможет. Словом, я заявил Учителю, что к важному коммунисту не пойду, потому что сильно боюсь его, а лучше похожу у ворот, подожду, он же мне после все расскажет...

Войдя в кабинет, я только успел заметить чьи-то глаза, насмешливые и умные, понял, что надо бежать, но вместо этого кинулся за стоявшую в углу тумбу с бюстом Энгельса и, ею прикрытый, сидя на корточках, зяб и томился... Я не мог преодолеть страха. Все время, пока они беседовали, я просидел в углу...» (*Илья Эренбург. Необычайные похождения Хулио Хуренито*).

Герой Зощенко, разумеется, не сумел бы проанализировать свое душевное состояние так глубоко и тонко, как это сделал автор вышеприведенных строк. Но сомневаться не приходится: зощенковская Дарья Васильевна Пилатова, которая заорала: «Ой, тошнехонько! Зарезали меня, подлецы. Вешайте трубку! Я не позволю в моей квартире с вождями разговаривать!» — испытывала совершенно те же чувства, какие испытал любимый ученик Хулио Хуренито.

Но хотя страх его был настолько велик, что он спрятался за тумбу и все время, пока Учитель и «важный коммунист» беседовали, так ни разу оттуда и носа не высунул, — ни одного слова этой замечательной беседы он не пропустил мимо ушей. И, как мы сейчас увидим, не зря. Потому что «важный коммунист» в своей беседе с Хулио Хуренито сообщил много ценного и интересного. И, кстати, как раз на интересующую нас тему:

«— Сегодня в «Известиях» опубликован список расстрелянных...

Коммунист прервал Учителя возгласом:

— Это ужасно! Но что делать — приходится!

Я не видал его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями...

Он продолжал:

— Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это выгодно, всячески мешают нам.. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди... мы гоним их в рай железными бичами. Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали бы всю сладость грядущей коммуны!..

Он вскочил, забежал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова:

— Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете, легко? Вам легко глядеть. Им легко повиноваться! Здесь — тяжесть, здесь — мука!.. Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю: тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..»

Вся эта система аргументов нам хорошо знакома. Великолепно известна она и интеллигенту, спрятавшемуся за тумбой. Но стоило только человеку, который секунду назад внушал интеллигенту этот мистический, иррациональный страх, заговорить на столь волнующую тему, как он, интеллигент, уже и уши развесил.

Слова «важного коммуниста» произвели на любимого ученика Хулио Хуренито, сидящего за тумбой, весьма сильное впечатление. Такое сильное, что он даже забыл на секунду о томящем его страхе и слегка высунул нос из-за тумбы:

«Высунувшись, я увидел, как Учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб... Опомнился я только у кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуренито, требуя пропуска.

— Учитель, зачем вы его поцеловали? От благоговения или из жалости?»

Вопрос этот свидетельствует о том, что он и сам уже, размышляя о сложной личности «важного коммуниста», испытывает не один только страх, а что-то еще. Благоговение? Или жалость? Неважно. Существенно тут другое: «важный коммунист» для него уже не только носитель эмблемы власти (шапки Мономаха, портфеля, мандата), но и человек. Такой же интеллигент, утопист, мечтатель, как и он сам. Того же поля ягода. Еще немного — и его самого уговорят принять эмблему власти («какой-нибудь крошечный мандатик»), потому что нельзя же (стыдно!) отсиживаться за тумбой, когда совершается такое великое историческое дело.

И постепенно, незаметно для себя он тоже втянется в эту игру. А потом — лет сорок или пятьдесят спустя — опомнится. И начнет

что-то такое стыдливо бормотать, пытаясь объяснить, как это получилось, что он так обмизнулся:

«Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходящим...»

«Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью...»

«Молчание было для меня не культом, а проклятием...» (*Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь*).

Но наедине с собой он не будет ни объясняться, ни оправдываться. Тут он заговорит совсем по-другому:

Приснилось мне, что я попал в зверинец,  
Там были флаги, вывески гостиниц,  
И детский сад и древняя тюрьма,  
Сновали лифты, корчились дома,  
Но не было людей. Огромный боров  
Жевал трико наездник и жонглеров,  
Лишь одряхлевший рыжий у ковра  
То всхлипывал, то восклицал «ура»...  
Шакалы в страхе вспоминали игры  
Усатого замызганного тигра,  
Как он заказывал хороший плов  
Из мяса дрессированных волков...  
Над гробом тигра грузный бегемот  
Затанцевал, роняя свой живот,  
Сжимал он грозди роз в коротких лапах  
И розы жрал, хоть осуждал их запах.  
Потом прогнали бегемота прочь  
И приказали воду истолочь.  
«Который час?» — проснулся я, рыдая,  
Состарился, уж голова седая.  
Очнуться бы! Вся жизнь прошла как сон.  
Мяукает и лает телефон:  
«Доклад хорька: луну кормить корицей».  
«Все голоса курятника лисице!»  
«А носорог стал богом на лугу».  
Пусть бог, пусть рог. Я больше не могу!

*(Илья Эренбург. Из стихов, написанных незадолго до смерти).*

Интеллигент чувствует себя жестоко обманутым. Еще бы! Вон ведь куда его завели! Разве ему такое обещали? Да если бы он знал, чем все это кончится, он бы никогда...

А вот тот «неописуемый средствами старой литературы» человек, которого всю жизнь описывал Зощенко, он себя обманутым не чувствует ни в малейшей степени. Потому что он никогда не обманывался.

Он всегда, с самого начала знал, чем все это кончится. Правильнее даже сказать так: не то, чтобы знал, чем кончится. Оно для него просто и не начиналось. Весь этот угар, в котором прошла жизнь интеллигента с 1905-го до, ну, скажем, 1955-го, когда интеллигент начал потихоньку опоминаться и приходить в себя,— весь этот угар зощенковского героя просто никак не коснулся. Он все это время жил так, как привык издавна, еще от царя Гороха.

Для интеллигента между Николаем Вторым и, скажем, Керенским — пропасть. Между Лениным и Сталиным — уж такая пропасть, что и говорить нечего. А уж между Сталиным и Хрущевым...

Интеллигенты сутками готовы были спорить о сравнительных достоинствах и недостатках всех этих исторических деятелей. Собственно говоря, все эти пятьдесят лет и ушли у них — целиком, без остатка — на такие вот споры. И боже ты мой! Сколько истин за это время успели они выяснить! Сперва с непреложностью было установлено, что Сталин — это Ленин сегодня. Потом появились отдельные еретики, сначала робко, а потом все смелее и смелее заявлявшие, что Сталин надругался над великим учением Ленина и извратил его. Потом появились еще более отчаянные смельчаки, которых вдруг озарило, что на самом деле Сталин — это все-таки «Ленин сегодня», а Ленин — это «Сталин вчера»... А уж с Николаем Вторым что было! Сперва интеллигенты, негодуя, именovali его «Николаем Кровавым». Потом выражали глубокое удовлетворение (а некоторые даже и злорадствовали), узнав о расстреле всей царской семьи. А потом (разумеется, не сразу, а спустя целую историческую эпоху) выражали столь же глубокое удовлетворение, услышав, что зарубежная русская православная церковь причислила его к лику святых.

Наш герой, «неописуемый средствами старой литературы», во всех этих бесплодных спорах и эмоциональных стрессах не участвовал. А если иногда и касался этих щекотливых вопросов, то совершенно особенным образом. Не так, как интеллигенты. Иначе:

«— Помню, еще в шашнадцатом годе служил я в Петербурде хельдхелем. А народ там проживал такой, что работать не хотят, а с утра берут тряпочки разные, на их фулюганские слова пишут, потом на палки нацепют и идут на улицу — грамотность свою показать. И вот, бывало, отберешь у него эту тряпку да еще скажешь в сердцах: «Ах ты, фулюган эдакий, да что ж ты такое делаешь?» А ён говорит: «Это не я, говорит, фулюган, а ты, говорит, фулюган, это не я, говорит, у тебе тряпку цапәу, а ты у мене цапәешь». А я говорю: «Это не я,— говорю, фулюган, а ты, говорю, фулюган, потому что я, говорю, с ружжом, а ты без».

— И какие же они слова на тех тряпках писали? — заинтересовался Талдыкин, надеясь, что матерные.

— Слова-то? — переспросил Шикалов. — Я ж тебе говорю: фулюганские. Ну там «долгой Ленина», «долгой Сталина» и протчие.

Тут Талдыкин засомневался.

— Погодь, — остановил он Шикалова. — Что-то ты не то говоришь. В шашнадцатом годе Ленина и Сталина еще не было вовсе...

— А кто ж тогда был?

— Известно кто, — сказал Талдыкин уверенно. — В шашнадцатом годе был царь Николай Александрович, император и самодержец.

— Глупой ты, Талдыка, — посочувствовал Шикалов. — Не зря у тебя такая фамилия. Бригадир, а калганом своим сообразить не можешь, что Николай, он был опосля. А до его еще был Керенский...

— Керенский разве ж царь был?

— А кто ж?

— Пример-министр.

— Путаешь, — вздохнул Шикалов. — Все на свете перепутал. Как Керенского звали?

— Александр Федорович.

— Во. А царь был Николай Александрович. Стало быть, евонный сын...

— А когда ж, по-твоему, была революция?

— Кака революция?

— Октябрьская. — Талдыкин напирал на то, что было ему известно доподлинно. — Она была в семнадцатом годе.

— Это я не знаю, — решительно мотнул головой Шикалов. — Я в семнадцатом годе тож в Петербурде служил.

— Так она ж в Петербурде и была, — обрадовался Талдыкин.

— Нет, — убежденно сказал Шикалов. — Может, где в другом месте и была, в Петербурде не было». *(Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).*

Из этих двух собеседников один (Талдыкин) явно лучше знаком с историей вопроса, из чего можно заключить, что он умнее другого (Шикалова). Но такое заключение будет глубоко ошибочным. На самом деле у Шикалова были все основания вздохнуть сочувственно: «Глупой ты, Талдыка!» Шикалов, хоть он и не бог весть какого ума, а невежество его прямо-таки поразительно, самую суть дела ухватил верно. По сути он — г л у б о к о п р а в. Кое-что он, конечно, напутал. На тряпочках у демонстрантов «в шашнадцатом годе» было написано не «Долой Ленина!» и не «Долой Сталина!», там были написаны какие-то совсем другие слова. Но Шикалов прав, потому что он понимает, что дело не в словах. Дело в том, «у кого ружжо».

Могут сказать, что надо быть поистине клиническим идиотом, что-бы жить в 1917 году в Петербурге и даже не заметить, что произошла Великая Октябрьская революция. Кое-кто, пожалуй, даже усомнится в том, что на свете бывают такие удивительные люди.

Однако именно такие люди и составляют народонаселение той страны, которую описывал в своих рассказах Михаил Зощенко.

Взять хотя бы полотера Ефима Григорьевича, которого заподозрили в краже дамских часиков девяносто шестой пробы, обсыпанных брильянтами:

«Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики...

И вдруг — на пятый день — как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, — думаю, — да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре — думал — медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побегал на улицу...

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как-то странно ходит боком, вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы это, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

— Вчера произошла Октябрьская революция». (*М. Зощенко. Жертва революции*).

Это, конечно, вряд ли ему могли так сказать. Они ведь тогда еще не знали, что революция, которая произошла только вчера, будет называться Октябрьской. Это он теперь (в 1923 году) так себе это дело представляет. Но в самом-то главном он не соврал. В ч е р а (заметьте: не только что, не сегодня, а уже вчера, уже целый день прошел!) произошло такое великое историческое событие в жизни всего народа, а он этого даже и не заметил. Ну совершенно как Шикалов у Войновича.

Шикалов, правда, и на другой день ничего не заметил. И даже двадцать с лишним лет спустя (в 1941 году) категорически отрицал, будто в 1917 году, в бытность его «в Петербурде», там произошло нечто подобное.

Это уж, конечно, совершеннейший абсурд.

Октябрьская революция имела такие серьезные последствия, так повлияла на жизнь в с е х людей, что не заметить ее было невозможно. Но опять-таки — как поглядеть на это дело. Для Шикалова-то ведь ничего не изменилось. Он и раньше, до революции, был «с ружжом». И после революции опять был «с ружжом». Следовательно, как раньше, до революции резонировал (с помощью все того же «ружжа») фулюганов, так и после революции, судя по всему, занимался тем же. А то, что раньше эти «фулюганы» писали на тряпочках «Долой самодержавие!» или, скажем, «Вся власть Учредительному Собранию!», а потом стали писать «Долой Ленина!» или «Долой Сталина!» — это дела не меняет.

Впрочем, демонстраций с такими плакатами история Советского государства не знает. Единственная открытая демонстрация, организованная «фулюганами» при Советской власти, проходила под несколько иными лозунгами.

Это было 7 ноября 1927 года.

«Оппозиционеры решили принять участие в общей процессии со своими плакатами. Лозунги этих плакатов ни в коем случае не были направлены против партии: «Повернем огонь направо — против кулака, нэпмана и бюрократа!», «Выполним завещание Ленина!», «Против оппортунизма!», «Против раскола, за единство партии!»... В день 7 ноября плакаты оппозиции вырывались из рук, носители этих плакатов подвергались избиениям со стороны специальных дружин...» (*Л. Троцкий. Моя жизнь*).

В одной из таких «специальных дружин», надо полагать, был и Шикалов со своим «ружжом». Ему, наверное, объяснили, что «Против раскола, за единство партии» — это и значит: «Долой Сталина!» (Кстати, так оно на самом деле и было). Но скорее всего ему и объяснять ничего не потребовалось, потому что, как мы уже установили, такие люди, как Шикалов не придают большого значения словам. И совершенно правильно делают.

Трагедия интеллигента в том, что он чересчур большое значение придает словам. В жизни интеллигента слишком большую роль играет так называемая вторая сигнальная система. Поэтому интеллигент легко может впасть в состояние, которое академик И. П. Павлов называл «парадоксальным»:

«У нас находится на излечении больная с чрезвычайно расслабленной нервной системой. Когда ей показывают красный цвет и говорят, что это не красный цвет, а зеленый, она с этим соглашается и заявляет, что, всмотревшись внимательно, она действительно убедилась, что это не красный, а зеленый цвет. Чем это объяснить? Академик Павлов говорит, — парадоксальным состоянием. При нем теряется реакция на сильный возбудитель. Действительность, действительный красный, или иной цвет — это сильный возбудитель. А слова: красный, зеленый и т. д. — это слабые возбудители того же рода. При болезненной нервной системе, при ее парадоксальном состоянии теряется восприимчивость к действительности, а остается восприимчивость только к словам. Слово начинает заменять действительность. В таком состоянии, по мнению академика Павлова, находится сейчас все русское население»... «Вообще, — заключил свою лекцию И. П. Павлов, — я должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Русский человек имеет такую слабую мозговую систему, что он не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексy кординированы не с действительностью, а со словами». (*Н. А. Грудескул. Лекция академика Павлова. Журнал «Звезда», 1927 г.*)

Академик Павлов не зря, конечно, пришел к этому ужасающему выводу. Кое-какие основания для такого обобщения у него, конечно, были. И все же, мне кажется, этот его вывод содержит некоторое преувеличение.

Творчество таких писателей, как Зощенко или Войнович (равно как и цитировавшиеся мною стихи Твардовского), опровергает этот чересчур поспешный вывод.

Вот если бы это рассуждение И. П. Павлова касалось не русского человека вообще, а русского интеллигента, тогда с ним действительно было бы трудно спорить. Русский интеллигент и в самом деле (во всяком случае, в то время, о котором идет речь) за редкими исключениями потерял способность воспринимать действительность как таковую. Для него существовали только слова.

В значительной степени этой болезнью были заражены и другие слои населения.

Вообще-то говоря, человек (разумеется, не только русский) в принципе легко подвержен этому заболеванию. Полностью гарантированы от него только животные, поскольку у них нет второй сигнальной системы. Вот, скажем, обезьяна:

«Замучилась она, устала и, конечно, кушать захотела.

А в городе, где она может покушать? На улицах ничего такого съедобного нет. Не может же она со своим хвостом в столовую зайти. Или в кооператив. Тем более — денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар.

Все-таки она зашла в один кооператив. Почувствовала, что там что-то такое имеется. А там отпускали населению овощи: морковку, брюкву и огурцы.

Заскочила она в этот магазин. Видит: большая очередь. Нет, в очереди она не стала стоять. И не стала расталкивать людей, чтобы пробиться к прилавку. Она прямо по головам покупателей добежала до продавщицы. Вскочила на прилавок. Не спросила, почему стоит кило морковки. А просто схватила целый пучок морковки и, как говорится, была такова. Выбежала из магазина довольная своей покупкой. Ну — обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия» (М. Зощенко. *Приключения обезьяны*).

Человека, даже если его условные рефлексy координированы с действительностью, а не со словами, всегда можно убедить, что бывают такие обстоятельства, когда необходимо «оставаться без продовольствия».

Эту разницу между человеком и животным отметил даже гоголевский Селифан. «Экой скверный барин! — думает он про Ноздрева, распорядившегося не давать чичиковским лошадям овса. — Я еще никогда не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство...»

Конечно, человек, оставшийся без «продовольства», тоже будет недоволен. Но человеку все-таки можно что-то такое внушить. Дескать,



ничего не поделаешь! Приходится! В связи с исключительными обстоятельствами военного времени... В конце концов все это делается во имя высших целей, для твоего же блага... И т. д. и т. п.

И все-таки, если верить художественной литературе (а как ей не верить, если она действительно художественная? Ведь если художественная, значит, открывает правду), — так вот, если верить художественной литературе, в России и тогда оставалось еще немало людей, условные рефлексы которых были координированы не со словами, а прямо и непосредственно — с действительностью.

Эти люди усвоили, впитали огромный исторический опыт деспотического государства. Причем в отличие от интеллигентов они усвоили его не умозрительно, не через слова. Как выразился однажды по сходному поводу А. Н. Толстой, «не умом, а поротой задницей».

## 5

Все, кто писал о Зощенко, как правило, исходили из того, что неповторимый зощенковский язык — как выразился однажды Горький, «пестрый бисер его лексикона» — понадобился писателю исключительно для того, чтобы разоблачать обывателя.

В эту схему не очень укладывалась «Голубая книга». Поэтому она почти единодушно была признана неудачей писателя.

Критики не могли понять, почему исторические главы «Голубой книги» написаны тем же языком, что и бытовые. Это их шокировало. Ясно было, что сделал это автор исключительно «для смеха». Но над кем он смеялся? Куда было направлено жало его художественной сатиры?

С какой целью он решил про Александра Македонского, Диогена или, скажем, английского поэта Роберта Броунинга рассказывать тем же «зощенковским» языком, каким он рассказывал про Вовку Чучелова, Василия Ивановича Конопатова, Забегкина и других своих персонажей?

Не Роберта же Броунинга хотел он при этом разоблачить?

Оказалось, что именно его.

Вернее — и его тоже.

Зощенко всерьез полагал, что привычный, высокий (то есть интеллигентский) взгляд на историю сильно искажает реальную картину далекого прошлого, поскольку интеллигенты тут «накрутили много лишнего». Он был уверен, что простой и бесхитростный взгляд его героя лучше, чем взгляд интеллигента, привыкшего во всем видеть какой-то скрытый, тайный смысл, сумеет разглядеть самую, что ли, суть дела. Он исходил из того, что его герой имеет гораздо больше шансов увидеть все события мировой истории в их истинном свете, поскольку он — это

ведь, в сущности, и есть человек, КАКОВ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ, так сказать, человек В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ.

Короче говоря, Зощенко решил исходить из предпосылки, что любой исторический факт, увиденный глазами и пересказанный языком его героя, ближе к реальности, чем тот же факт, увиденный глазами и пересказанный языком интеллигента.

И он не ошибся.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить один и тот же факт, изложенный сперва сухим, «объективным» слогом историка, а потом «переведенный» зощенковским героем на язык близких ему представлений и понятий.

Кстати говоря, Зощенко словно бы нарочно предлагает нам материал для такого сравнения. Как правило, его герой-рассказчик один и тот же исторический факт излагает дважды. Сперва он как бы делает выписку из какого-нибудь исторического документа. Как бы дает незакавыченную цитату из учебника истории:

«После победы римлян многие греческие философы были привезены в Рим, где и продавались в рабство. Римские матроны покупали их в качестве воспитателей к своим сыновьям. Чтобы продаваемые не разбежались, торговцы держали их в ямах. Откуда покупатели их и извлекали». (*Голубая книга. Неудачи*).

А потом, сделав еще несколько таких же выписок, рассказчик вновь возвращается к этому факту и излагает его уже своими словами. Так, как он представляется его живому воображению:

«Только представьте себе картину. Яркое солнце. Пыль. Базар. Крики. Яма, в которой сидят философы. Некоторые вздыхают. Некоторые просятся наверх. Один говорит:

— Они в прошлый раз скоро выпустили, а нынче что-то долго держат.

Другой говорит:

— Да перестаньте вы, Сократ Палыч, вздыхать. Какой же вы после этого стоик? Я на вас прямо удивляюсь.

Торговец с палкой около края ямы говорит:

— А ну, куда вылезашь, подлюга. Вот я тебе сейчас трахну по переносью, философ... Ученая морда...»

Мы привыкли к мысли, что «пестрый бисер зощенковского лексикона» уведит нас куда-то в сторону от изображаемой писателем действительности. Создает некий угол искажения.

На самом деле, однако, дело обстоит совершенно иначе. Наукообразный, анемичный, невыразительный слог интеллигента («Философы были привезены в Рим, где продавались в рабство...», «Римские матроны покупали их...», «...торговцы держали их в ямах») совершенно не способен передать самую суть описываемых событий. В этом унылом изложе-

нии факт ничуть не поражает нас своей чудовищностью. Он даже обретает фальшивый налет известной благопристойности.

А своеобразное зрение зощенковского рассказчика, его характернейшая лексика («Куда вылезает, подлюга... Философ... Ученая морда...») не только не искажают факт, и даже не только делают его более осязаемым и конкретным. Они вскрывают самую суть факта. Вскрывают, так сказать, его внутреннюю реальность.

Выясняется, что отражение факта в сознании зощенковского героя, так сказать, более адекватно этому факту, нежели его отражение в сознании (и речевом строе) интеллигента — журналиста или историка.

## 6

Зощенко был не единственным (и даже не первым) русским писателем, который стал изображать человека, воспринимающего действительность не умом, а поротой задницей. Старая русская литература изобразила эту фигуру достаточно убедительно и зримо, с большим знанием предмета.

Открытие Зощенко состояло в другом.

Его открытие состояло в том, что этот человек, инстинктивно признающий палачество неотъемлемой, естественной и законной частью жизни, одинаково приспособлен и к тому, чтобы стать жертвой, и к тому, чтобы самому стать палачом.

Герои Зощенко не служат в карательных органах, не расстреливают сами и не отдают приказов о расстреле. Но дело не в этом. Дело в том, что Зощенко создал художественный мир, где так и есть возможно. Более того: где только так и есть возможно.

Чтобы понять, почему эти люди оказались способны на действия и поступки, потрясшие человечество и заставившие мыслителей и философов отчасти даже пересмотреть все укоренившиеся, традиционные представления о божественной природе человека, надо поглядеть на них не в чрезвычайных, не в экстремальных ситуациях, когда они, скажем, загоняли себе подобных в газовые камеры или вывозили на грузовиках. Нет, чтобы как можно лучше разобраться в этом вопросе, надо увидеть этих людей в их повседневном, будничном существовании. Надо взять обстоятельства самые что ни на есть обыденные. Если и отличающиеся от каждодневного сонного течения жизни, так разве только какой-нибудь ерундой. Ну, скажем, небольшим отклонением атмосферного давления. Например, наступившей внезапно жарой.

«...Все эти дни были, сами знаете, какие жаркие. Не только, ска-

жем, крупное животное — клоп и тот может по такой жаре взбеситься, если, конечно, его на солнцепеке подержать.

А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бесятся» (*М. Зоценко. Бешенство*).

Таковы исходные обстоятельства. Их всего два: жара и пустяковое газетное сообщение (может быть, даже перевранное).

Но, как мы сейчас увидим, больше ничего и не надо. Этого вполне достаточно:

«А мы, для примера, у ворот стояли. Разговаривали.

Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим — по нашей стороне, задрав хвост, собака дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду нипочем не скажешь, что она бешеная. Хвостишко у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим — собака форменно бешеная. Хвост у нее после удара обмяк, книзу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не растерялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим — все признаки налицо. Рот раскрыт. Слюна вышибает. Хвост колбасой. И вообще накидывается.

Член правления кричит:

— Спасайся, робя! Бешеная...

Бросились мы кто куда. А дворник Володин в свисток начал свистеть.

Тут кругом на улице рев поднялся. Крики. Суматоха.

Тут постовой бежит. Револьвер вынимает.

— Где тут, — кричит, — ребятишки, бешеная собака? Сейчас мы ее уконтрапим!

Поднялась тут стрельба. Член правления из окон своей квартиры командует, куда стрелять и куда прохожим бежать.

Вскоре, конечно, застрелили собачку».

Может показаться, что здесь изображен типичный случай так называемого «парадоксального состояния». Все условные рефлексy персонажей рассказа координированы не с действительностью, а со словами. Действительность ничего такого особенно зловещего им не предвещает: «Хвостишко у ней торчит, и слюны пока не видать». Но все это не имеет никакого значения, поскольку еще задолго до того, как собака появилась на их горизонте, они у же н а п е р е д з н а л и, что она будет бешеная.

Они прочли об этом в газете.

И поэтому, как бы ни развивались события в дальнейшем, как бы кротко и миролюбиво ни вела себя эта несчастная собака, — ее поведение все равно выглядело бы в их глазах крайне подозрительно. («...рот у ней подозрительно закрыт и глаза открыты...»)

Нельзя сказать, чтобы сознание зощенковского героя тут резко отличалось от сознания героя старой литературы. Герой Тургенева или Чехова тоже вполне мог поддаться такому массовому психозу. И соответственно наломать дров.

Но герой старой литературы неизменно в ы х о д и т из этого парадоксального состояния. Невозможно представить себе, чтобы в душе тургеневского или чеховского героя, после того как он узнал, что произошла ошибка, что собака была не бешеная, не нашлось хоть капли сожаления по поводу случившегося, хоть крохотной искорки раскаяния.

С зощенковским героем ничего подобного не происходит:

«Только ее застрелили, вдруг хозяин ее бежит. Он в подвале сидел, спасался от выстрелов.

— Да что вы, — говорит, — черти, нормальных собак кончаете? Совершенно, — говорит, — нормальную собаку уконтрапутили.

— Брось, — говорим, — братишка! Какая нормальная, если она кида-ется.

А он говорит:

— Трех нормальных собак у меня в короткое время прикончили. Это же, — говорит, — прямо немисливо! Нет ли, — говорит, — в таком случае свободной квартирки в вашем доме?

— Нету, — говорим, — дядя.

А он взял свою Жучку на плечи и пошел. Вот чудак-то».

Может показаться, что все эти особенности поведения зощенковского героя объясняются тем, что он, в отличие от героя старой литературы, оказавшись в парадоксальном состоянии, уже не способен из него выйти. В действительности, однако, дело обстоит гораздо проще. В том-то вся и штука, что так называемое парадоксальное состояние тут вообще ни при чем.

Тут важно совсем другое: то, что этим людям н и ч е г о н е с т о - и т так поступить. Это для них — н е в о п р о с.

Пробегает мимо собака. «Член правления, конечно, ее палкой». Все дело вот в этом «конечно», а вовсе не в том, насколько велика их убежденность, что собака бешеная.

В повести В. Войновича «Путем взаимной переписки» героиня рассказывает герою, что у них была собака, но ее брат, желая испробовать новое ружье, застрелил ее.

— За что? — спрашивает герой.

Героиня удивленно пожимает плечами:

— Так ведь это же собака!

Все дело тут именно в этом, а не в каком-то там парадоксальном состоянии.

Человек, способный убить п р о с т о т а к (пусть даже всего-навсего собаку), гораздо опаснее того, кто может стать убийцей, лишь находясь в «парадоксальном состоянии».

«Эх, разозлиться бы!» — мечтает Гусев у А. Н. Толстого («Аэлита») перед тем, как ему предстоит кинуться в атаку на ни в чем не повинных марсиан. Он не новичок в военном деле, привык убивать себе подобных, крушить налево и направо. Но все-таки для того, чтобы переступить какую-то грань, сделать шаг, после которого убийство станет делом д о з в о л е н н ы м, — ему необходимо привести себя в парадоксальное состояние. Уговорить себя, что марсиане в чем-то перед ним виноваты. Попросту говоря, разозлиться.

Для героев Зоценко это условие совершенно не обязательно.

Зоценковскому члену правления вовсе не надо было разозлиться на бежавшую мимо собаку, чтобы ляпнуть ее палкой по башке. А прикончив несчастное животное, он и его соратники вовсе не испытывают естественной потребности злиться на невесть откуда явившегося вдруг ее владельца. Насколько естественнее было бы, если б они дружно напустились на него: «Ах ты, такой-сякой! Так это твоя собака! Какого же ты дьявола не держишь ее на поводке, а свободно пускаешь бегать по улицам!»

Бешеная была собака или не бешеная, — им совершенно все равно. И факт убийства (как выяснилось, совершенно бессмысленного) ни в малейшей степени не колеблет их душевного равновесия, их спокойного, миролюбивого и в основе своей даже доброжелательного отношения к миру.

«Нету, — говорим, — дядя!» — отвечают они на вопрос владельца собаки, нет в их доме свободной квартирки. Беззлобно отвечают. Может быть, даже с сожалением. Была бы квартирка, может быть, с полным душевным расположением предоставили бы ее ему. Но это совсем не значит, что в каком-нибудь другом случае они не обошлись бы с этим чудачком примерно так же, как только что обошлись с его собакой.

Ну, скажем, если бы появилось газетное сообщение, призывающее их к этому:

«Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов!» (*Из речи государственного обвинителя — Прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вышинского. Судебный отчет по делу антисоветского «Правотроцкистского блока»*).

Это тоже было газетное сообщение. (Отчет составлен по тексту газет «Известия» и «Правда».) Причем не такое рядовое, как то,

что произвело столь сильное впечатление на героев зощенковского рассказа «Бешенство».

Знаменитые эти слова Вышинского на долгие годы стали для советских людей боевым сигналом и руководством к действию.

Вот, например, лет десять спустя органами государственной безопасности был арестован молодой литератор Аркадий Викторович Белинков. Ему было предъявлено обвинение в том, что он создал клеветническое произведение под названием «Черновик чувств. Антисоветский роман». Рукопись этого романа была послана на экспертизу известному литературоведу, профессору В. В. Ермилову, который соответствующим образом его отрецензировал.

Рецензия, разумеется, носила характер сугубо литературоведческий и заключалась такими словами:

«Людей, подобных Белинкову, по меткому выражению товарища А. Я. Вышинского, следует расстреливать как бешеных собак» (сообщено мне покойным А. В. Белинковым, которому рецензия В. В. Ермилова была предъявлена, когда решался вопрос о его реабилитации).

У меня сейчас нет под рукой всех судебных отчетов о процессах 30-х годов, на которых с обвинительными речами выступал Вышинский. Поэтому я затрудняюсь сказать точно: сам ли Ермилов творчески переделал «поганных псов» в «бешеных собак», или в другой речи Прокурора Союза ССР действительно фигурировали не «поганные псы», а именно «бешеные собаки». Скорее все-таки последнее: литературоведы такой квалификации, как покойный В. В. Ермилов, редко позволяли себе вольности в цитатах. Особенно, когда ссылались на основополагающие указания своего прямого начальства. В цитате из Белинского или Герцена он еще мог что-нибудь напутать. Но в цитате из Вышинского?.. Маловероятно...

Все это я припомнил тут не для того, чтобы придать маленькому рассказу Зощенко какой-то обобщающий или даже символический смысл. И уж тем более не для того, чтобы попытаться разглядеть в этой крохотной бытовой зарисовке прозрачный намек на события государственного или даже мирового масштаба. Не мог ведь Зощенко, сочиняя в 1926 году свой рассказ «Бешенство», знать, что спустя двенадцать лет Прокурор Союза ССР произнесет свои знаменитые слова, которые еще десять лет спустя профессор В. В. Ермилов будет благоговейно цитировать.

Тут, кстати, нам представляется возможность коснуться весьма важного вопроса, одно время сильно занимавшего многочисленных поклонников зощенковского таланта.

Вопрос такой: был ли Зощенко Эзопом?

Велик соблазн ответить на этот вопрос утвердительно. Особенно, если вспомнить те исторические анекдоты, которыми Зощенко, — уж наверняка не без тайного умысла, — щедро уснастил свою «Голубую книгу».

Взять хотя бы рассказ про Лизистрата, который, чтобы укрепить свой слегка пошатнувшийся авторитет и утвердить единовластие, инсценировал «злодейское покушение» на свою жизнь:

«...Он взял кинжал и нанес себе неопасную рану в грудь. И в таком, можно сказать, отвлеченном виде, с кинжалом в груди, он предстал перед удивленным народом...

И там, на площади, не вынимая кинжала, он произнес громовую речь о покушении злодея на его жизнь и о своей горячей любви к народу, которая выше его жизни.

Согласно утверждению историков, народ после недоверчивого молчания растрогался и стал аплодировать зарвавшемуся вождю» (*Голубая книга. Коварство*).

Написано это было в 1935 году, то есть вскоре после убийства Кирова. А уж какие ассоциации должно было вызвать у современников выражение «зарвавшийся вождь», объяснять не надо.

Или вот еще рассказ про римского папу Сикста Пятого:

«Это ему такое имя дали при восшествии на папский престол. А так-то, до этого, его звали Перетта. И он был не папа, а простой кардиналишка из монахов.

И вот он находится в положении обыкновенного кардинала, и это ему все мало. Он еще непременно хочет быть папой...

А там у них это было не так-то просто — папой быть. Другие, может быть, тоже к этому стремятся. А наш герой — из простых монахов и не имеет особой протекции. Только что он не дурак...».

Ясно ведь, что не какой-то там занюханный кардиналишка по имени «Перетта» интересуется тут нашего автора, а совсем другой исторический персонаж. Уж слишком велико сходство ситуаций, чтобы совпадение могло оказаться простой случайностью. Сталин ведь тоже, — совершенно как будущий Сикст Пятый, — не имел особых шансов стать «папой». Были и другие, куда более перспективные кандидаты. Скажем, Троцкий, имя которого с первых дней Октября гремело рядом с именем только что умершего вождя. Или Зиновьев, который прятался вместе с вождем в легендарном шалаше, считался ближайшим его другом и соратником...

Да, пожалуй, можно предположить, что Зощенко не без задней мысли решил ввести в свою «Голубую книгу» историю возвышения кардинала Перетты и превращения его в папу Сикста Пятого.

Однако пока это все-таки предположение.

Читаем дальше:



«И вот тут, как нарочно, умирает у них прежний римский папа. Может быть, Сикст Четвертый... И вот у них начинаются перевыборы. Может быть, пленум. Или там конференция специалистов по священному писанию...».

«Пленум», «Конференция»... Это уже не кукиш в кармане, а довольно-таки откровенный и даже нахальный кукиш, поднесенный к самому сталинскому носу. Тем более, что история возвышения кардинала Перретты чем дальше, тем больше напоминает обстоятельства, при которых тихий и скромный Коба («с лицом простого рабочего, в одежде простого солдата») стал «папой»:

«Другие кардиналы думают: «Вот бы хорошо, в самом деле, такого слабенького папу выбрать... Очень будет милый и застенчивый папа. И он навряд ли будет во все входить и всех подтягивать. А то, ей-богу, другого выберешь, он тебе навернет. Нет, непременно надо этого выбрать».

И с этими словами они его выбирают...».

Совершенно так же рассуждали Каменев, Зиновьев и все «другие кардиналы», от которых на первых порах после смерти Ленина зависело, кому стать будущим «папой». Выберешь этого бешеного Троцкого, он тебе навернет,— опасно прикидывали они. А этот — двух слов связать не может. Ни тебе теоретик, ни полководец, ни оратор, ни любимец партии. Очень будет милый и застенчивый вождь.

А если к этому добавить, что в народе Сталина частенько называли п а п о й (с различными модификациями, от официального «отец народов» до эковского «пахан»), все сомнения отпадут окончательно. Тем более, что дальше сходство становится еще более поразительным:

«Историки говорят, что сразу после избрания, почти немедленно, произошла чудовищная перемена. Кардинал выпрямил стан и заговорил с собравшимися таким резким и суровым тоном, что привел всех в трепет... И он весьма сурово вел дела. Он во все вникал и всех тянул. И даже казнил двух кардиналов... Так что все вскоре убедились, что он их чертовски надул.

В общем, когда он умер, обозлившиеся церковники сбросили его статую с пьедестала и разбили ее в мелкие дребезги. И это, говорят, был в некотором роде единственный случай, что разбили статую».

Ну, случай, положим, не единственный. Нам с вами известен по крайней мере еще один такой же:

А случилось дело так:  
Как-то ночью странную  
Заявился к нам в барак  
«Кум» со всей охраною.  
Я подумал, что конец,

Распрощался матерно...  
Малосольный огурец  
Кум жевал внимательно.  
Скажет слово и поест,  
Морда вся в апатии,  
«Был,— сказал он,— главный съезд  
Славной нашей партии.  
Про Китай и про Лаос  
Говорились прения,  
Но особо встал вопрос  
Про Отца и Гения».  
Кум докушал огурец  
И закончил с мукою:  
«Оказался наш Отец  
Не отцом, а сукою...».  
Полный, братцы, ататуй!  
Панихида с танцами!  
И приказано статуй  
За ночь снять на станции.  
Ты представь — метет метель,  
Темень, стужа адская,  
А на нем одна шинель  
Грубая, солдатская,  
И стоит он напролом,  
И летит, как конница,  
Я сапог его кайлом,  
А сапог не колетя...  
Но тут шарахнули запал,  
Применили санкции,—  
Я упал, и Он упал,  
Завалил полстанции...

*(Александр Галич. Поэма о Сталине).*

Вот и говори после этого, что Зоценко не Эзоп. Пожалуй, даже еще больше Эзоп, чем тот, настоящий. Ведь все, решительно все совпадает! Даже такой «в некотором роде единственный случай», как сброшенная с пьедестала и разбитая вдребезги статуя.

Однако позвольте... Ведь Сталин умер в 1953 году. А статуи его стали скидывать с пьедесталов и того позже — после XX, даже после XXII съезда партии. То есть в 60-е годы. А «Голубая книга» писалась в 1934—1935 годах.

Стало быть, все-таки не Эзоп?

Да уж. Какой Эзоп! Скорее Нострадамус...

В одном зощенковском рассказе фигурирует ялтинский забулдыга сапожник, некто Снопков. С этим Снопковым случилось множество забавных происшествий, началом которых послужило то, что он изволил выкушать четвертинку русской горькой в аккурат накануне знаменитого ялтинского землетрясения. Повествуя о различных злоключениях Снопкова, рассказчик то и дело повторяет: «Он ведь не знал, что будет землетрясение».

То же можно сказать и про самого Зощенко.

Рассказывая историю про сброшенную с пьедестала и разбитую вдребезги статую только что умершего властителя, он ведь не знал, что будет «землетрясение».

А может, знал? Может быть, так уж устроен мозг художника, что при случае он может служить точнейшим сейсмографом, предсказывающим грядущие колебания земной коры?

Нет, скорее всего Зощенко не был и Нострадамусом. И папа Сикст Пятый — это именно Сикст Пятый, а не Сталин. И король Гунтрам, приказавший казнить всех врачей, лечивших его возлюбленную супругу Австрахильду (намек на «дело врачей»?), — это именно король Гунтрам, а не Сталин.

Да Зощенко бы, наверно, умер от страха, приди ему в голову, что какой-нибудь из его рассказов может быть истолкован как намек на обстоятельства, прямо или косвенно связанные с какими-нибудь поступками вождя народов!

Как я уже говорил, о Сталине Зощенко не написал ни строчки. И тем не менее мы не ошибемся, высказав предположение, что он гораздо ближе подошел к разрешению так называемой «загадки Сталина», чем все биографы этого великого человека — все историки, социологи, философы, психологи, мистики и поэты, так или иначе прикоснувшиеся к этой жгучей теме.

## 8

Вот еще одна история, рассказанная в той же «Голубой книге».

Это история о том, как римский император Нерон задумал лишить жизни свою мать. По свидетельству Светония, он приказал устроить в ее спальне потолок с обшивкой, который с помощью специальной машины можно было обрушить на нее во время сна:

«Можно представить, какой был разговор при заказе этого потолка.

— Не извольте беспокоиться! — говорил подрядчик. — Потолок сделаем — просто красота! Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!..

— Да гляди, труху у меня не клади,— говорил Нерон.— Гляди, клади что-нибудь потяжелее. Легкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша!

— Как же не знать, ваше величество? Характерная старушка. Только какая же может быть труха? Ай, ей-богу, ваше величество: я особо большой камешек велю положить в аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки.

— Ну, уж вы там, как хотите,— говорил Нерон.— Но только чтоб — раз! — и нет маменьки.

— Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок — кувырк! И, вообще-с, несчастный случай, вроде землетрясения. Никто не виноват, и маменька, между прочим, больше не присутствует. Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество! Очень, как бы сказать, натуральное средство против маменьки!..

— Ну ладно, ладно! Поменьше, дурак, языком трепли!» *(Голубая книга. Коварство).*

Своеобразие этого замечательного отрывка определяется тем, что оба собеседника с поразительным простодушием игнорируют как правовую, так и моральный аспект запланированного мероприятия. Вопрос о том, что нехорошо (не принято, не полагается, «не дозволено») убивать кого бы то ни было, а тем более свою родную мать,— этот деликатный вопрос просто-напросто не попадает в поле их зрения. Он для них как бы не существует.

Что касается Нерона, тут даже и говорить не о чем. Ему, само собой, дозволено решительно все. Но подрядчик относится к обсуждаемому предмету совершенно так же, как Нерон. И самое замечательное тут, что он н и ч у т ь н е п р и т в о р я е т с я (если и притворяется, так разве только в несколько преувеличенном выражении своего искреннего восхищения хитроумием и изобретательностью выдумки Нерона).

Мы можем говорить об этом с такой уверенностью, потому что этот подрядчик — досконально известный нам зощенковский герой, решительно не отличающийся от героев других зощенковских рассказов. Мы имели возможность наблюдать его в самых различных жизненных ситуациях, и повсюду он вел себя и проявлял коренные свойства своей натуры совершенно так же, как он ведет себя здесь, в этой отнюдь не тривиальной коллизии.

Да и Нерон зощенковский тоже великолепно нам знаком. Так же, впрочем, как и другие исторические персонажи «Голубой книги» — персидский царь Камбиз, римский диктатор Корнелий Сулла или русская императрица Екатерина Вторая. Все они чувствуют, рассуждают, изъясняются и ведут себя совершенно так же, как чувствует, рассуждает, изъяс-

ясняется и ведет себя любой другой персонаж любого другого зощенковского рассказа.

«Я, ровно слон, стою за прилавком, колбасу покупателям отвешиваю и на вырученные деньги ёжики себе покупаю, и нипочем не позволю постороннему персоналу моими ёжиками пользоваться», — говорит «муж, чей ёжик», затеявший драку в коммунальной квартире.

А вот как объясняет мотивы своего поведения Екатерина Вторая, замыслившая устранить со своей дороги княжну Тараканову:

«— Будь, говорит, другом: поезжай сейчас в Италию. Там, говорит, объявилась самозванка, княжна Тараканова. Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны. Или, может, это действительно ее дочка. Только она метит на престол. А я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать».

Обращаясь к различным фактам и событиям мировой истории, Зощенко не пренебрег мудрым советом автора «Истории государства Российского от Гостомысла»:

Ходить бывает склизко  
По камешкам иным.  
Итак, о том, что близко,  
Мы лучше умолчим.

Но, умолчав о современных ему исторических событиях, он тем не менее дал нам свою их версию, свой ключ к постижению самой их сути.

## 9

Вот сюжет, который мог бы стать истинным перлом в собрании исторических новелл, составивших тот раздел «Голубой книги», которому автор дал название «Коварство».

Сталин велел передать арестованным Зиновьеву и Каменеву, что их могут расстрелять без всякого суда. Но если они публично признаются во всех своих «преступлениях», а главное, в том, что это действительно они задумали и осуществили злодейское убийство Кирова, им сохраняют жизнь, а члены их семей будут освобождены.

«После долгого сопротивления и после разрешенной им беседы наедине в камере Зиновьев и Каменев сдались и потребовали свидания с членами Политбюро для подтверждения условий, на которых они сдаются... Свидание кончилось заключением «дзержинского соглашения»: Зиновьев и Каменев будут говорить все, что от них требуют, а Сталин и Политбюро им гарантируют жизнь. Состоялся открытый процесс

в августе 1936 г., Зиновьев и Каменев честно выполнили условия соглашения. Они рассказывали такие фантастические подробности убийства Кирова и намеченного убийства Сталина, что, читая эти показания, признанные теперь и самим Кремлём ложными, невольно думаешь не только о величии режиссера этой трагикомедии, но и о выдающемся таланте ее актеров играть ложную, трагическую, самоубийственную роль с такой страстью и так убедительно. Да, они сдержали слово, но Сталин не сдержал. 24 августа суд приговорил всех к расстрелу... Каменев умер храбро, но больного Зиновьева несли на расстрел на руках. Даже в эти предсмертные секунды он верил Сталину — «Ради Бога, товарищи, ради Бога, позвоните Сталину» — это были его последние слова. Александр Орлов рассказывает, что когда начальник личной охраны Сталина Паукер и другие участники казни Зиновьева и Каменева восстанавливали перед Сталиным эту сцену смерти Зиновьева, то Сталин долго не мог успокоиться от взрывов хохота» (*А. Авторханов. Происхождение партократии. Том второй: ЦК и Сталин*).

Не так уж трудно во всех подробностях представить себе, как обработал бы Зощенку этот сюжет:

«Фыркая в руку и качаясь от приступов смеха, Сталин говорит:

— Ишь ты! Даже про бога вспомнил. Вот тебе и марксист. Вот тебе и соратник Ленина.

Начальник охраны говорит:

— Ха-ха-ха! Ближайший, можно сказать, друг! В одном шалаше прятались. И вот, между прочим, больше не присутствует...

— Ну ладно, ладно! Поменьше, дурак, языком трепли!

— Да я разве что? Я только говорю: очень острое средство вы против них придумали, товарищ Сталин! Очень, как бы сказать, натуральное средство... Ай, ей-богу!..».

Эту маленькую вольность я позволил себе не для того, чтобы продемонстрировать, как легко поддается этот сюжет именно такой художественной обработке. Все дело тут в том, что именно такая обработка наиболее, так сказать, адекватна этому сюжету. Тут наблюдается полное единство формы и содержания.

Все прежние, традиционные способы обработки тут решительно не годятся. Даже Авторханов, как никто другой понимающий природу сталинщины, и тот невольно попадает впросак, как только в силу известного автоматизма речи прибегает к традиционным интеллигентским идиомам. Вслушайтесь, например, как нелепо и комично звучат применительно к вышеописанной ситуации выражения типа «джентльменское соглашение» или: «Они сдержали слово, но Сталин не сдержал...».

Вся эта обетшальная терминология тут решительно не годится, потому что она создана людьми, не мыслящими своего существования вне каких-то нравственных границ. Эти границы можно нарушать, престу-

пать, но невозможно, немыслимо полностью отвлечься от сознания, что они существуют.

Выражения — «Сдержал слово», «Не сдержал своего слова», — как бы исходят из предположения, что человек, давший обещание, сам-то х о т е л б ы его выполнить. Выполнить обещанное часто бывает трудно, как, например, трудно всаднику сдерживать норовистую, непокорную лошадь. Выражение «не сдержал» как раз и предполагает, что хотел сдерживать, даже прилагал для этого какие-то усилия, но... не удалось, не вышло. Не смог совладать со стихией.

К ситуации, описанной Авторхановым, это выражение неприменимо, потому что Сталин даже и не помышлял о том, чтобы «сдерживать» свое слово. И сам Авторханов это прекрасно сознает:

«...Зиновьев выразил опасения, что, дав им сыграть ложную роль на процессе, их все-таки расстреляют, и поэтому потребовал от Сталина гарантий. На это Сталин ехидно заметил: «Если вы не верите Политбюро, то какие же вам гарантии, может быть, вы хотите гарантийное письмо из Женевы от Лиги Наций?» В самом деле, — замечает по этому поводу Авторханов, — со стороны Зиновьева было сверхнаивно требовать каких-то гарантий от Сталина, допуская, что Сталин может их соблюдать».

Великолепно понимая это, Авторханов невольно впадает в ту же «сверхнаивность». Ведь выражение «Сталин не сдержал своего слова» тоже как бы допускает, что он м о г его сдерживать.

Традиционная интеллигентская речь непроизвольно тащит за собой груз обетшавших, устарелых интеллигентских представлений, совершенно неприемлемых для описания этих поистине н о в ы х людей, для понимания и раскрытия стимулов, управляющих их поведением.

Тут нужен совершенно новый язык.

Впрочем, иногда и интеллигенту непроизвольно удастся отразить эту новую действительность. Иногда она проступает — более или менее отчетливо — даже сквозь его вялую интеллигентскую речь.

Это удастся интеллигенту тем лучше, чем хуже он владеет традиционным интеллигентским слогом, — ведь тем свободнее его речь от груза волоочащихся за ней традиционных интеллигентских представлений:

«Развернулась беседа, касавшаяся работы над образом Ивана Грозного и общих вопросов создания художественных произведений на исторические темы.

Отвечая на наши вопросы, товарищ И. В. Сталин сделал ряд необычайно интересных и ценных замечаний относительно эпохи Ивана Грозного и принципов художественного воплощения исторических образов.

Говоря о государственной деятельности Грозного, товарищ И.В. Сталин заметил, что Иван IV был великим и мудрым правителем,

который ограждал страну от проникновения иностранного влияния и стремился объединить Россию. В частности, говоря о прогрессивной деятельности Грозного, товарищ И. В. Сталин подчеркнул, что Иван IV впервые в России ввел монополию внешней торговли, добавив, что после него это сделал только Ленин.

Иосиф Виссарионович отметил также прогрессивную роль опричнины, сказав, что руководитель опричнины Малюта Скуратов был крупным русским военачальником, героически павшим в борьбе с Ливонией.

Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами,— если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени... И затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил, что «тут Ивану помешал бог»: Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом целый год кается и замаливает «грех», тогда как ему нужно было действовать еще решительнее!..» (Н. К. Черкасов. *Записки советского актера*. М.: «Искусство», 1958).

Унылая интеллигентская речь: «...затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил...» — весьма бледно передает самую суть отношения Сталина к затронутому предмету.

Мысль Сталина в общем понятна. Она состоит в том, что он, Сталин, не чета Ивану Грозному. Он замаливать «грех» не станет. И рефлексировать по таким пустякам не будет.

Он и не рефлексировал. Ни впоследствии, после этой беседы, ни прежде. Он всегда был верен своим установкам. Предложил ведь он в свое время Черчиллю «ликвидировать» 50 000 германских семейств, принадлежащих к крупнопомещичьему (юнкерскому) сословию и тем самым навсегда вырвать из пасти империалистической Германии ядовитое жало агрессии и реваншизма (все другие меры он считал недостаточно эффективными). А когда Черчилль с ужасом поднял на него изумленный взор, он с присущим ему юмором обратил все это в шутку.

Нет, что касается принципиальных установок Сталина, высказанных им в беседе с народным артистом СССР Н. Черкасовым, то они переданы мемуаристом довольно точно.

Хуже обстоит дело с пресловутым сталинским юмором.

Понять, а тем более выразить, передать нам самую суть, самую природу этого юмора Черкасову явно не удалось. Иной наивный читатель, пожалуй, даже и не поймет: а что тут, собственно, смешного? В чем, так сказать, состоит предмет юмора?

Вот тут нам и приходит на помощь художественный метод, открытый писателем Михаилом Зощенко:

«Вот было удивительно, когда церковь стала продавать ордера на отпущение грехов. Это у них уклончиво называлось индульгенциями.



Мы, собственно, не знаем, как возникло это дело. Вероятно, было заседание обедневших церковников, на котором, даваясь от здорового смеха, кто-нибудь предложил эту смелую идею.

Какой-нибудь там святой докладчик, наверное, в печальных красках обрисовал денежное положение церкви.

Кто-нибудь там несмело предложил брать за вход с посещающих церковь.

Какой-нибудь этакий курносый поп сказал своим гнусавым голосом:

— За вход брать — это они, факт, ходить не будут. А вот, может быть, им при входе чего-нибудь этакое легонькое продавать, дешевенькое, вроде Володи... Что-нибудь вкручивать им...

Кто-нибудь крикнул:

— Дешевенькое тоже денег стоит. А вот, может, нам с каждого благословения брать? Или: водой морду покропил — платите деньги.

Но тут вдруг наш курносый поп, фыркая в руку и качаясь от приступов смеха, сказал:

— А может, нам, братцы, грехи отпущать за деньги? У кого какой грех — гони монету... И квиток получай на руки... Ай, ей-богу...

Пожалуй, какая-нибудь высохшая ханжа, воздев к небу руки, сказала:

— А как же бог-то, иже еси на небеси?

Курносый говорит:

— Я, братцы, другого боюсь — вдруг не понесут деньги... Народ — форменный прохвост пошел...» (*Голубая книга. Деньги*).

Заговорить в этой ситуации о боге может, по мнению рассказчика, только «какая-нибудь высохшая ханжа», поскольку все участники этого заседания, как и главные действующие лица романа Булгакова, «сознательно и давно перестали верить сказкам о боге», как это объяснил Берлиоз Воланду. А еще того вернее, и вовсе никогда этим сказкам не верили. Идея продавать за деньги отпущение грехов представляется им такой очаровательной и смехотворной аферой («Ай, ей-богу!») не потому, что они собираются продавать то, что им не принадлежит. Нет! Весь юмор этого дела заключается для них в том, что они собираются торговать тем, чего и во все нет на свете. Продавать, так сказать, чистую фикцию.

Не только мысль о существовании бога, но и само понятие греха представляется им чистейшим абсурдом. Продуктом самого что ни на есть дурацкого суеверия, не воспользоваться которым было бы просто глупо. Идея греха, греховности, преступления, то есть какого-то нравственного запрета, который нельзя преступать, — сама эта идея вызывает у них только одну реакцию — скабрезного и глумливого веселья.

Именно эту реакцию скабрёзного и глумливого веселья и тщится передать чахлая фраза Черкасова:

— Затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил...

Передать эту реакцию вполне адекватно можно только «методом Зоценко». Как-нибудь вот так:

«Давясь от здорового смеха, Сталин говорит:

— Ему бы, дураку, сразу всех прикончить. А он одного уконтрапил, и давай каяться, грех замаливать. Ну, конечно, и упустил момент... Ай, ей-богу!»

## 10

Такое смещение может показаться грубой натяжкой.

Вот если бы речь шла не о Сталине, а о Хрущеве, — тогда другое дело. Интонация, речевая манера рассказчика в мемуарах Хрущева (я говорю «рассказчика», а не «автора», потому что мемуары эти, как известно, были не написаны, а наговорены на магнитофон) часто просто не о т л и ч и м а от голоса зоценковского героя:

«...Бежал Сметана, президент литовский. Ульманис, латышский глава государства. Или премьер был, или он президент. Я не знаю».

«Кулик был артиллерист и как офицер старой царской армии умел стрелять из пушек...»

«Я уже говорил, как Сталин воспринимал этот договор. Он буквально ходил гоголем. Он ходил, задравши нос, и буквально говорил: «Надул Гитлера, надул Гитлера...»

«...Сталин однажды рассердился и поставил вопрос прямо:

— Вы бросьте это. Я это вижу и я возмущен. И я не потерплю этого...»

«Булганин когда-то танцевал, видимо, в молодости. Он русское что-то вытапывал в такт. Сталин тоже танцевал. Он что-то такое ногами передвигал и руки расставлял...»

«Дети... Вася, значит, был. Вася хороший мальчик был. Умный мальчик. Но своенравный. И в ранней молодости он стал пить. Учился он не дисциплинированно. И он приносил много огорчений Сталину. И Сталин, по-моему, его порол за это. И предоставлял, так сказать, наблюдению чекистов, которые следили за ним».

Светланка — это другая. Она была меньше. Маленькая была. Бегала, значит...»

«...Когда мне сказали, что Светланка уехала, значит, в эту самую Индию и не захотела вернуться в Советский Союз, я не поверил. Я говорю: это невозможно. Я не верю. Это, видимо, очередная какая-нибудь такая утка со стороны буржуазных журналистов».

Потом прошел день-два. Не было никакого сомнения, что она не вернулась... Мне и сейчас ее жалко. Как это у Некрасова говорится: ей и теперь его жалко (о лесе она говорит), жалко до слез, сколько там было кудрявых берез.

Мне жалко ее, значит. Буквально жалко. Что вот так сложилась ее судьба».

«Когда я возглавлял правительство, молодой пианист, который получил премию на конкурсе имени Чайковского, был женат... Не был, а он и сейчас женат. Англичанка, значит. И у них ребенок был.

После окончания, после конкурса, они выехали в Англию. Там родители этой англичанки, англичане живут. Мне говорили, что она родом или, значит, родилась в Исландии. Но вот, все-таки она англичанка. Английская подданная. Паспорт у нее английский» (*Н. С. Хрущев. Воспоминания*).

У Сталина — в его статьях и даже устных выступлениях — таких перлов, сближающих его речь с речью зощенковских героев, мы, конечно, не найдем. Но я ведь говорил не об интонационной или лексической близости зощенковской языковой манеры лексике, синтаксису, ритму сталинской речи. Речь идет не о языке, а о том, что этот язык выражает.

«Бажанов, бывший секретарь Сталина, рассказывает, как мало этот последний интересовался важнейшими государственными вопросами. Его предупреждали: «Он никогда ничего не читает, и если просматривает в течение года десять или двенадцать документов, это уже много. Бажанов, по его словам, не хотел верить этому, но после дюжины заседаний в Политбюро, в которых он принимал участие, он убедился, что Сталин не знаком с вопросами, которые стоят в повестке дня. Он был поражен, по собственным словам, обнаружив, что Сталин является лишь малокультурным кавказцем, не знакомым ни с литературой, ни с иностранными языками, мало осведомленным в экономических и финансовых вопросах.

Бажанов рассказывает, как два секретаря Сталина — Бажанов и Товстуха — разговаривали однажды в коридоре здания Центрального Комитета. Появляется Сталин. Секретари умолкают. «Товстуха, — говорит Сталин после паузы, — моя мать имела козла, который походил на тебя... Он не носил только очков...» Довольный собою, Сталин уходит в свой кабинет» (*А. Троцкий. Сталин*).

Шутка, прямо скажем, дурацкая. И вообще, если верить этому объяснению, Сталин был просто-напросто глуп. Глуп и невежествен. Вызывались, однако, на этот счет и другие, прямо противоположные суждения. Черчилль и Рузвельт, как известно, вовсе не считали Сталина дураком. Да и по записи их бесед видно, что сплошь и рядом Сталин

оказывался гораздо умнее обоих этих, отнюдь не глупых государственных деятелей.

Кому же верить?

«У Бердяева в его кламарском доме, — вспоминает Георгий Адамович. — Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то сказал, что любопытно было бы — будь это возможно! — пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался.

— Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран...» (*Георгий Адамович. Комментарии. Вашингтон. 1967*).

Вот даже и Бердяев признает, что Сталин был умен. Хотя и «туп, как баран». Сразу даже и не поймешь, что это, собственно, это значит? Может быть, последнее замечание Бердяев сделал, что называется, в сердцах? Мало ли чего не скажешь со зла.

Нет, Бердяев отлично знал, что говорит.

Все дело в том, что в понятия «ум» и «глупость» мы вкладываем совершенно разный, а нередко и противоположный смысл.

Наиболее проницательные из людей, которым приходилось иметь дело со Сталиным, прекрасно понимали, что Сталин был умен. Но умен совершенно особым образом. И то, что Бердяев называет глупостью Сталина («туп, как баран»), была вовсе не глупость. Это был такой ум.

«В 1926 г., — вспоминает Троцкий, — когда Зиновьев и Каменев после трех лет совместного со Сталиным заговора против меня перешли в оппозицию к аппарату, они сделали мне ряд очень поучительных сообщений и предупреждений.

— Вы думаете, — говорил Каменев, — что Сталин размышляет над тем, как возразить вам по поводу вашей критики? Ошибаетесь. Он думает о том, как вас уничтожить, сперва морально, а потом, если можно, и физически. Оклеветать, организовать провокацию, подкинуть военный заговор, подстроить террористический акт. Поверьте мне, это не гипотеза; в тройке приходилось быть откровенными друг с другом, хотя личные отношения и тогда уже не раз грозили взрывом. Сталин ведет борьбу совсем в другой плоскости, чем вы» (*Л. Троцкий. Сталин*).

Бердяев был совершенно прав, говоря, что Сталин, случись ему принять участие в обсуждении романа Артура Кестлера «Тьма в полдень», просто не понял бы, о чем речь. Но это случилось бы совсем не потому, что ему не доставало ума. Ум у него был незаурядный. Но действовал этот его незаурядный ум совсем в другой плоскости.

Чтобы в полной мере оценить и понять замечание Бердяева, надо обратиться к предмету обсуждения: к роману Кестлера «Тьма в полдень». Роман этот представляет собой опыт развернутой психологиче-

ской разгадки той жгучей тайны, над которой тщетно ломали головы все мудрецы нашего века: как случилось, что испытанные, закаленные в революционных битвах борцы, прошедшие огонь и воду царской каторги, вчерашние соратники Ленина, создатели и руководители первого в мире государства рабочих и крестьян, — как вышло, что они так легко и покорно оговаривали себя, признаваясь, что скопом запродали иностранным разведкам дело, которому отдали всю свою жизнь?

Мало кто из пытавшихся дать ответ на этот проклятый вопрос обошелся без обращения к идеям и образам Достоевского. Там и сям мелькали имена Ивана Карамазова, Раскольникова, Петра Верховенского, Ставрогина, Шигалёва... (Даже Государственный Обвинитель на больших московских процессах — и тот не отказал себе в удовольствии щегольнуть литературной эрудицией и помянул раза два Смердякова).

Объяснение Кестлера было, пожалуй, из самых убедительных. Сказать, что тут тоже не обошлось без Достоевского, значило бы сказать ничтожно мало. Мучительные и сложные отношения Раскольникова с Порфирием — детские игрушки в сравнении с тем психологическим инцестом, в который вступает герой Кестлера Рубашов (в нем сравнительно легко угадывается Бухарин) со своим следователем.

Сталин действительно не понял бы объяснение Кестлера. Но не потому, что он не способен был его понять. На что ему были нужны всякие досужие домыслы, все эти психологические выверты, если он просто-напросто з н а л, где зарыта собака.

Интеллигенты пытались найти разгадку тайны в разнообразнейших способах воздействия на д у ш у обвиняемого. Немудрено, что все их догадки чаще всего не выходили за пределы той области, которую исследовал великий сердцевед Федор Михайлович Достоевский. Но даже цинично и трезво мыслящие сторонники наиболее простых, сугубо медицинских объяснений (гипноз, химия, фармакология) не сомневались, что точкой приложения всех этих усилий были не кости и мускулы, не печень и селезенка подследственного, а именно его слабая, грешная, мечущаяся, запутавшаяся в моральных и логических неувязках и противоречиях д у ш а.

Но наука доказала,  
что души не существует,  
что печенка, кости, сало —  
вот что душу образует

*(Николай Олейников).*

Сталин во всех своих начинаниях исходил именно из этой простейшей предпосылки.

Он твердо знал, что самым надежным способом воздействия на душу человека является чисто механическое воздействие на то, что эту самую душу образует, то есть на печеньку, на кости и на прочие хрупкие органы человеческого организма.

Он твердо знал, что никакие психологические ухищрения не могут сравниться с таким простым и надежным средством, как удар носком сапога в мошонку. И жизнь показала, что процентов примерно на девяносто он был прав<sup>1</sup>.

Но мы отвлеклись. Речь не о том, прав или не прав был Сталин в своих представлениях о природе человеческой души. Речь о том, какой художественный метод с наибольшим приближением выражает природу сталинщины. Можно ли, скажем, понять в полной мере природу этого явления, оставаясь в пределах художественного мира, созданного Достоевским?

«Образы Петра Верховенского и Смердякова ведут дальше, в сферу зла сатанинского, туда, где любая идея оборачивается ложью и служит лжи, где всё — искаженная, пошлая имитация, где канонически, лично, не в аллегории правит тот, кого в Средние века называли *imitator Dei*.

Верховенщина и смердяковщина, однако, пустяк по сравнению со сталинщиной. И Достоевский только предчувствовал путь, который Россия прошла не в воображении писателя, а в реальном историческом бытии. И если Ленин, Бухарин и Троцкий, может быть, и были одержимы ложной идеей, то Сталин, Ежов и Берия не идеями были одержимы. Сталинский фикционализм на службе активной несвободы, сталинская «самая демократическая в мире» конституция на службе ежовского террора ведут дальше, чем тайное общество Петра Верховенского. А расправа с соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.

Но осознание мистического начала в сталинщине еще ждет своего Достоевского, и никому не ведомо, дождется ли» (*Роман Редлих. Неоконченный Достоевский. Журнал «Грани», 1971*).

Любопытно, что автор этой статьи, чувствуя невозможность исчерпать явление сталинщины, оставаясь в пределах художественного мира,

---

<sup>1</sup> Появление в 60-х годах записок чешского коммуниста Артура Лондона окончательно разоблало простую и страшную подоплеку «Тайны московских процессов». Но книга Лондона не перечеркнула замечательную книгу Кестлера, поскольку жизнь показала и другое. Она показала, что душа человека — такая же реальность, как печенька, кости и сало. И в некоторых исключительных случаях она не поддается грубому механическому воздействию, как, впрочем, и воздействию новейших достижений фармакологии. Силу противостоять всем этим могущественным средствам подследственному дает сознание своей правоты. Тут достаточно назвать имена Петра Григоренко и Владимира Буковского.

созданного Достоевским, ни на секунду не сомневается, что природа эта сугубо мистического свойства<sup>1</sup>.

Весь пласт явлений, связанных с понятием сталинщины, лежит, по его убеждению в сфере сатанинского зла. И он особо подчеркивает, что слово это для него не метафора, не аллегория, что оно выражает самую что ни на есть доподлинную реальность.

Это последнее соображение, вероятно, у некоторых, более реалистически настроенных интеллигентов вызвало бы ряд серьезных возражений. Может быть, даже большинство из них решительно отбросило бы его как несостоятельное. И дело закончилось бы тем, что все эти понятия — «мистическое начало», «сфера сатанинского зла» и т. п. — были бы взяты в кавычки, уведомляющие, что выражения эти представляют собою все же не что иное, как чистейшую аллегию, и только.

Зощенко (и именно в этом и состоит коренное его отличие от всех его собратьев по литературе) не принял бы это объяснение даже как аллерию.

Причина данного явления, на его взгляд, коренится в самой природе человека. И нечего тут себя обманывать:

«Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевет. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот после инженера освободили — никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завернулось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением.

Ну что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо...» (*Сирень цветет*).

---

<sup>1</sup> Суждение это тем интереснее для нас, что принадлежит оно человеку, предметом специальных исследований которого были не Достоевский и достоевщина, а именно Сталин и сталинщина.

«Никакое ответственное суждение о коммунизме, его теории и практике, его метафизике и аксиологии, как и о социальных механизмах его действия, не может обойтись без изучения двух книг Романа Николаевича Редлиха. Впервые они увидели свет в 1949—52 гг. под названием «Очерки большевизмоведения». В начале семидесятых годов вышло новое русское издание в двух томах, носящее название «Сталинщина как духовный феномен» и «Советское общество» («Грани», № 107. 1978, стр. 261)

Фраза «И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера» может, конечно, рассматриваться как пример обычного косноязычия зощенковского героя-рассказчика. И слово «конечно», употребленное тут не совсем кстати, при этом будет выглядеть как типичное слово-паразит, вроде «значит», «так сказать», «вот» и других подобных «сорняков», которыми не шибко владеющий литературным слогом человек обычно уснащает свою речь. Но мы-то с вами знаем, что слово это в данном случае употреблено как раз более чем кстати. Ведь бедолагу-инженера, о котором идет речь, конечно, арестовали, потому что в той жизни, о которой повествует нам рассказчик, такое событие не какой-нибудь там экстраординарный случай. Это — событие самое что ни на есть обыкновенное и в какой-то мере даже неизбежное.

Сама эта история, завершающаяся шпилькой по адресу знаменитого горьковского «Человек — это звучит гордо», легко может быть истолкована как желание сказать еще одну мизантропическую гадость о человеческой природе: «Ладно, мол, бросьте вкручивать! Звучит гордо... Сволочь ваш человек! Только его поскреби слегка, дай ему чуть-чуть проявиться, — и сразу выяснится, что он — сукин сын, прохвост и мерзавец!»

Но мысль Зощенко не укладывается в эту простую схему.

Зощенко не собирается закрывать глаза и на другие факты, рисующие природу человека совсем в ином свете. Он знает, что человек может проявлять не только слабость, но и силу. Не только трусость, но и мужество. Не только подлость, но и благородство. Он не собирается закрывать глаза на эти факты. Как честный классификатор стимулов, управляющих человеческим поведением, он даже выделил все случаи такого рода в специальный раздел своей «Голубой книги» и назвал этот раздел «Удивительные события».

Вот, скажем, знаменитый подвиг римлянина Муция Сцеволы. Случай, конечно, поразительный, что и говорить. Но в вопрос о том, каковы истоки исключительного мужества Муция Сцеволы, автор предпочитает не вдаваться. Черт его знает! Может, это мужество было чем-то вроде национальной особенности всей «римской публики»? Дело темное... История эта в «Голубой книге» рассказана примерно так же, как в одном американском журнале рассказывалось о человеке, который упал с 30-го этажа и не разбился. Оказывается, человеческий организм, который мы привыкли считать крайне хрупким, имеет какие-то неведомые нам, еще не изученные медицинской запасные прочности.

Ну, и что отсюда следует? Это, так сказать, медицинский факт. Только и всего. И делать из него какие-то выводы насчет красоты человеческой души или насчет того, что человек — это звучит гордо, было бы так же глупо, как из того факта, что червяк, разрезанный пополам, продолжает жить и извиваться, заключить, что «червяк — это звучит гордо!».

«— Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам...



И каждая половинка, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?

— Отстань,— сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.

— Позвольте,— закричал Перепенчук.— Нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо... Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь... Только что живет по-выдуманному» (*Аполлон и Тамара*).

Вот она — истина, открывшаяся зощенковскому герою.

Произошла ужасная ошибка. Эта ошибка состоит в том, что всю свою жизнь он жил не так, как нужно жить. Жил «повыдуманному». Эту роковую ошибку совершают все люди, живущие на Земле. Все они живут «повыдуманному». А им совсем не так надо жить! Пора сбросить с себя это дурное наваждение. Пора, наконец, перестать притворяться:

«Может быть, это чересчур грустным покажется некоторым отсталым интеллигентам и академикам, может быть, они через это обратно поскулят, но, поскуливши, пускай окинут взором свою прошедшую жизнь и тогда увидят, сколько они всего накрутили на себя лишнего...» (*Дама с цветами*).

Так рассуждают, так представляют себе устройство мироздания зощенковские герои.

Но это — герои. А автор? У него-то, надо полагать, на этот счет совсем другое мнение?

Увы! Примерно так же, даже совершенно так же глядит на мир, на природу человека, на устройство Вселенной и сам Зощенко:

«Жизнь, на мой ничтожный взгляд, устроена проще, обидней и не для интеллигентов» (*Письма к писателю*).

В этой коротенькой фразе, как в зародышевой клетке,— весь Зощенко, со всем своеобразием, со всей неповторимостью созданного им художественного мира.

САРНОВ Бенедикт Михайлович

## ФЕНОМЕН СТАЛИНА

Редактор М. М. Ж и г а л о в а.

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

---

Сдано в набор 16.11.89. Подписано к печати 22.01.90. А 00213.

Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».

Офсетная печать.

Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,13.

Тираж 150 000 экз. Зак. № 1550. Цена 10 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## ● БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

### ПО ПЛАТЕЖАМ НАСЕЛЕНИЯ

**Учреждения Сберегательного банка СССР** осуществляют по поручению вкладчиков безналичные расчеты по платежам за квартиру, коммунальные услуги, газ, электроэнергию, телефон, содержание детей в детских учреждениях и другим платежам путем списания этих сумм со счетов по вкладам. Такая форма расчетов с предприятиями, учреждениями и организациями по различным видам платежей освобождает Вас от необходимости ежемесячного их внесения наличными деньгами.

**Безналичные расчеты экономят Ваше личное время и являются наиболее удобной формой расчетов по платежам.**

● **Сберегательный банк СССР к Вашим услугам!**